

ЕВА ЗИМИНА

A movie poster for 'Academy of Dragons and Fire'. It features a large, dark dragon on the left and a woman in a red dress on the right, holding a flame. In the background, there is a castle and a gazebo with a fire inside. The title 'АКАДЕМИЯ ДРАКОНОВ И ОГНЯ' is at the bottom in a stylized font.

АКАДЕМИЯ
ДРАКОНОВ
И ОГНЯ

Ева Зимина

Академия драконов и огня

«Автор»

2026

Зими́на Е.

Академия драконов и огня / Е. Зими́на — «Автор», 2026

Двенадцать лет Лисанну Кальдор держали в плену под чужим именем — рычагом против родного дома. Теперь она свободна и приехала наставницей огня в первую в державе академию одарённых детей: учить тех, кого, как и её когда-то, некому было научить держать своё пламя в темноте. Но рядом с ней ставят того, чьей крови она боится больше прежних тюремщиков, — Сорена Дейна, пепельного дракона из рода «тех, кто тушит». Его дар создан гасить её огонь, и доктрина велит им быть врагами: пепел укрощает пламя. Вот только этот молчаливый, всеми сторонящийся дракон не гасит детей — он их укрывает. А выстывает в золу лишь от одной веры: что любовь не для палаческой крови. Когда под маской заботливого попечителя в академию приходит последний уцелевший узел старого зла и тихо превращает школу освобождения в доильню, пеплу и пламени придётся выбрать: покориться доктрине — или сжечь её дотла. Вместе. Огонь без золы — пожар. Зола без огня — могила. А вместе?..

© Зими́на Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Имя в темноте	5
Глава 2. Тот, кто тушит	10
Глава 3. Верная зола	15
Глава 4. Серый и червонная	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Ева Зими́на

Академия драконов и огня

Глава 1. Имя в темноте

Двенадцать лет меня звали чужим именем, и всё это время я по ночам шёпотом возвращала себе своё — тихо, как банкуют последний уголь, чтобы к утру осталось хоть немного тепла и было чем разжечься.

Лисанна. Лисанна Кальдор. Я повторяла это под одеялом из колючей шерсти, в келье, где замок щёлкал снаружи, и считала: одна ночь, ещё одна, ещё. Я выжила не огнём — огонь в плену выдавал. Я выжила тем, что не дала погаснуть имени.

Теперь имя было при мне, и замки больше не щёлкали снаружи. А я всё равно вздрогнула, когда возница тронул железное кольцо ворот, и оно лязгнуло.

— Приехали, госпожа наставница, — сказал он и почему-то понизил голос, как понижают его в храме и на кладбище. — Зелёная Обитель.

Я смотрела на ворота и считала свободы, как считала когда-то ночи. Я могу выйти из этой повозки сама. Я могу пойти, куда хочу. Никто не запишет меня в книгу под номером. Три свободы. За двенадцать лет я научилась не верить и трём, пока не проверю каждую ногами.

Год прошёл с тех пор, как меня нашли. Год я прожила в Алом дворе, в доме брата, и брат любил меня так, что я задыхалась. Эйдан выстроил вокруг меня стену из заботы — мягкую, тёплую, без единого замка, и всё равно стену. Меня не пускали к огню одну. Меня будили, если я слишком долго не отзывалась. Яра, его жена, единственная понимала: она сама поднялась из золы и знала, что человека, которого держали в клетке, нельзя лечить новой клеткой, пусть и золотой. Это Яра сказала Эйдану: «Отпусти её туда, где она будет нужна, а не сохранна». Это Яра дала мне адрес школы в пустошах.

Эйдан отпустил меня, как отпускают руку над пропастью — медленно, разжимая по пальцу. На прощание он сунул мне в дорогу узелок с углём — настоящим, древним, из гротов Кальдор. «Если будет совсем темно, — сказал он, — разожги и вспомни, что ты дома, даже если дом за тридевять земель». Я везла этот уголь у сердца и ни разу не разожгла. Я приехала учить детей не бояться темноты. Стыдно было бы признаться, что наставница возит с собой ночник.

Над пустошами стоял странный свет. Я знала, что это за место — мне рассказывал брат, и голос у него тяжелел, когда он говорил. Обитель Пепла. Сюда свозили тех, у кого нашли запретный дар, и отсюда не возвращались, а если возвращались, то золой в чужих склянках. Я ехала и ждала увидеть камень, серость, мёртвую землю.

А земля зеленела.

Сквозь пепельную корку, серую и слежавшуюся, как зимний наст, пробивались побеги — тонкие, наглые, ярко-зелёные, целыми островами. Кто-то вспорол мёртвую почву, кинул семена прямо в золу, и зола, оказывается, помнила, как родить. Над бывшими казематами поднималась стеклянная крыша — зелёное стекло на чёрных рёбрах, и под ним угадывался свет, тёплый, живой, не тюремный.

Я выдохнула, и выдох на холодном воздухе встал паром.

— Красиво, — сказала я вознице, потому что это было правдой, а правду я теперь говорила вслух, чтобы привыкнуть.

— Говорят, тут раньше людей в пепел сводили, — отозвался он, не глядя. — А теперь детишек учат. Чудно.

Чудно. Я подобрала юбку и прыгнула сама, не дожидаясь руки. Земля под сапогом была мягкой и пахла не тленом, а сырой весной.

У ворот меня встречала женщина в сером дорожном платье с серебряной цепочкой на поясе — на цепочке висела печать, тяжёлая, свинцово-серебряная, и я почему-то сразу поняла, что эта вещь важнее, чем кажется. Женщина была худая, прямая, с лицом, которое привыкло ничего не выдавать; но глаза у неё теплели через силу, будто она сама недавно научилась их отпускать.

— Лисанна Кальдор, — сказала она. Не вопрос. Она сверилась со мной, как сверяются с записью. — Я Линнея. Поверитель истинного Реестра, попечитель этой школы. Мы ждали вас к полудню.

— Я выехала раньше, — ответила я. — Не люблю опаздывать туда, откуда могу уехать.

Уголок её рта дрогнул — не улыбка, но родственное улыбке.

— Здесь все приезжают с какой-нибудь привычкой из прежней жизни, — сказала она. — У меня их целый реестр. Идёмте. Покажу вам очаг, прежде чем покажу вам бумаги. У нас так заведено: сперва тепло, потом порядок.

Я шла за ней через двор и не могла перестать смотреть. Двенадцать лет меня держали в местах, выстроенных так, чтобы человек чувствовал себя меньше камня. Здесь камень будто извинялся. Бывшие стены казематов разобрали наполовину, и из них сложили низкие грядки; в проломах посадили рябину. По двору бегали дети.

Я остановилась. Просто встала, и Линнея, заметив, остановилась тоже, терпеливо.

Дети бегали. Не строем. Не по счёту. Они гонялись за рыжим котом, который нёс в зубах что-то ворованное, и орали так, как орут только те, кого никто не накажет за крик. Девочка лет одиннадцати, темноволосая, с обожжённым недоверием лицом, командовала погоней, и от её ладоней при каждом резком движении срывались крохотные искры — и никто, никто не хватал её за руку, не шипел «спрячь», не тащил в книгу.

У меня защипало в горле так, что я разозлилась на себя.

— Это Ильза, — сказала Линнея, проследив мой взгляд. — Одиннадцать. Огонь. Её привезли из дома лорда, который держал её для... — она запнулась и выбрала слово чище, чем то, что хотела сказать, — ...для надобностей. Теперь она здесь главная над младшими и считает, что управляет академией. По большому счёту она права.

— А он? — Я кивнула на кота.

— Уголёк. Принадлежит хранителю огня Севера, но живёт где хочет. Сейчас он решил, что хочет здесь.

Чуть в стороне от беготни, у самой стены, сидел на корточках мальчик — маленький, лет восьми, с льняной головой, и не играл. Он водил по камню чёрным огрызком угля. Я подошла, не нарочно; меня потянуло к нему, как тянет к тихому. На камне углём был нарисован дракон — не страшный, неуклюжий, с большими глазами, и рядом домик с трубой, и из трубы шёл дым кудряшками.

— Хорошо рисуешь, — сказала я.

Мальчик вскинулся, прикрыл рисунок ладонью — быстро, привычно, как прикрывают то, за что бьют. И только увидев, что я не тянусь стереть, медленно убрал руку.

— Это Микка, — тихо сказала Линнея за моей спиной. — Он мало говорит. По бумагам прежней Обители он угашен два года назад. На деле его спрятали и сохранили живым. Он всё ещё не до конца верит, что его не сотрут, как стирают запись.

Я присела рядом с мальчиком на корточки, чтобы быть с ним вровень, и не сказала ничего умного. Я только показала ему ладонь и впустила в неё крохотный огонёк — маленький, ручной, с напёрсток. Микка смотрел на огонь не со страхом, а с голодом, какой бывает у того, кому долго запрещали хотеть. Потом он пририсовал к своему дракону на камне язычок пламени из

рта. Это был его ответ. Я кивнула, будто мы обо всём договорились, и встала. Глаза щипало уже не от злости.

— Идёмте, наставница, — мягко позвала Линнея. — Очаг.

Главный зал был тем самым местом, над которым подняли зелёное стекло. Я поняла это по тому, как воздух здесь держался — тяжело, памятно. Линнея, кажется, поняла, что я поняла.

— Да, — сказала она тихо. — Здесь была доильня. Здесь у людей вынимали дар по капле и сливали в склянки. Мы не стали прятать это место за новой стеной. Мы поставили посреди него очаг. Чтобы каждый, кто входит, видел: где забирали — там теперь греют.

Очаг стоял в центре, круглый, сложенный из светлого камня, и в нём горело пламя — спокойное, ясное, червонно-золотое, с тёплой сердцевиной. Я подошла, и мой собственный огонь под кожей качнулся ему навстречу, как качается пёс к руке хозяина. Я придержала. Двенадцать лет придерживала — рука помнила.

— Зеркальный очаг, — сказала Линнея. — В нём соединили две вещи. Уголь Первого пламени дома Кальдор — его прислал ваш брат. Это древнее законное пламя, старше короны и старше запрета. И горсть верной золы дома Дейн — той, что банкует жар и держит его всю ночь, а не крадёт. Огонь и зола. По отдельности — пожар и могила. Вместе — очаг.

— Красиво звучит, — сказала я. Я не доверяю красивым словам; красивыми словами меня двенадцать лет уговаривали быть послушной.

— Это не только слова. — Линнея сняла с пояса печать, но не приложила её, а просто показала. — На этом очаге приносят присягу. Наставники и ученики. Кто говорит правду — у того пламя стоит ясно и ровно. Кто лжёт — у того идёт серый дым. А если рядом прячут дар, насильно сжатый, придушенный, — пламя вскидывается язычком и тянется к нему. Так очаг находит спрятанного ребёнка. Это наша проверка истины. В буднях он просто горит и греет. Но под присягой при нём не солжёшь.

Я смотрела в огонь и думала: знала бы ты, поверитель, сколько раз меня заставляли присягать на чужих святынях, и сколько раз я лгала под ними, и ни одна не вскинулась язычком. Но этот очаг был другой. Я чувала это кожей, как чую хороший огонь от дурного.

— У меня к нему вопрос, — сказала я. — Можно?

— Нужно, — сказала Линнея. — Иначе вы не будете ему верить, а ученики чувуют недоверие наставника к святыне быстрее, чем мы.

Я протянула руку над огнём. Не близко — я не люблю подносить ладонь к чужому пламени, в плену меня этим проверяли. Я сказала вслух, тихо, только для очага:

— Меня зовут Лисанна Кальдор.

Пламя качнулось ко мне и встало — ясное, ровное, тёплое, без единой серой нити. Оно признало моё имя. Я простояла так дольше, чем было нужно для проверки. Двенадцать лет ни одна вещь в мире не подтверждала, что я — это я. А кусок огня в чёрной пустоши подтвердил с первого слова.

— Добро пожаловать домой, наставница, — сказала Линнея за моей спиной, и я была благодарна, что она не смотрит мне в лицо.

Тепло я приняла. Теперь, как она и обещала, шёл порядок — и порядок пришёл в виде человека, которого я невзлюбила прежде, чем он сказал хоть слово.

Он стоял у дальнего входа в зал, в тени, куда не доставал свет очага, и тень шла ему, как иным людям идёт хороший плащ. Высокий, в сером — не в трауре, но близко; волосы пепельные, не седые, а именно цвета остывшей золы, и глаза такие же, серые, без дна. Когда он сделал шаг к нам, я заметила, как двое детей у грядок мгновенно отодвинулись к стене, не нарочно, телом, как отодвигаются от сквозняка.

И ещё я заметила, что воздух вокруг него идёт лёгкой поволокой — серой, тонкой, будто он сам слегка дымится остывая. Мой огонь под кожей вдруг сжался, прижался, притих. Так он не делал даже в плену. Будто кожа сказала мне: при этом человеке тебя могут потушить.

— Лисанна, это лорд Сорен Дейн, — сказала Линнея. — Он будет учить детей удержанию. Тому, как не выжечь себя и не спалить дом. Вы будете работать вместе.

Дейн. Я знала это имя. Все его знали. Дом Дейн — те, кто тушит. Пепельные драконы, чья кровь создана гасить дар. Палачи Обители Пепла. Тот старший, Альрик, говорят, оказался не таким, и за это его сняли с присяги, и он теперь попечительствует здесь, как кающийся. А этот — молодой, младшая ветвь, и смотрит на меня без капли тепла, ровно и серо, и от его взгляда мой огонь жмётся к рёбрам.

— Госпожа Кальдор, — сказал он. Голос низкий, негромкий, как присыпанный пеплом. — Я читал ваше дело.

— А я ваше нет, — ответила я. — Но имя вашего дома читала на каждом воротах, за которые меня заводили.

Линнея едва заметно вздохнула — так вздыхают, когда сводят за столом двух гостей, которые непременно поссорятся. Сорен Дейн не отвёл глаз.

— Дети огня вас любят, — сказал он. — Это легко. А я их учу тому, что они не хотят слышать: что огонь, который нельзя придержать, убивает первым того, в ком горит. Меня не любят. Так что нам с вами лучше не мешать друг другу.

— Согласна, — сказала я, и это была чистая правда, и если бы я стояла под присягой, очаг бы стоял ясно. — Не мешайте моему огню, лорд, и я не подожгу вашу золу.

Что-то прошло по его серому лицу — не обида, скорее усталость человека, который слышал это много раз и заранее знает все слова, какие я ещё скажу. Он коротко склонил голову — мне, Линнее — и ушёл в свою тень, и поволока ушла с ним, и мой огонь медленно отлип от рёбер.

— Он спас больше детей, чем кто-либо в этих стенах, — тихо сказала Линнея, глядя ему вслед. — И ни один из них не подошёл к нему сказать спасибо. Подумайте об этом, прежде чем решите, кто он.

— Я привыкала к вещам и похуже, — сказала я. — Это не значит, что я их полюбила.

Линнея не стала спорить. Она вообще, я начала понимать, не тратила слов на спор там, где вернее было дать времени.

Остаток дня съели бумаги, дети и хлопоты. Мне отвели две комнаты в восточном крыле — и впервые за двенадцать лет дверь запиралась изнутри, на мой ключ, и снаружи её отпереть было нельзя. Я заперла, отперла, заперла снова — три раза, чтобы убедиться, что щелчок идёт от моей руки. Возница назвал бы меня чудной. Я считала это четвёртой свободой за день.

Перед сном я достала узелок с углём Кальдор, подержала в ладонях, не зажигая, и убрала под подушку. Завтра у меня первый урок. Я лягу, как всегда, поверх одеяла, не раздеваясь, и буду повторять про себя имена детей, которых сегодня запомнила: Ильза, Микка. Я учила их имена, как когда-то учила своё, — чтобы не дать стереть.

Уснуть я не успела.

Сперва я подумала, что мне мерещится. Мой огонь, тот, что весь день жался и прятался, вдруг качнулся — сам, без моей воли. Я лежала в темноте, и в правой ладони, у самых пальцев, проступил язычок пламени — тонкий, червонный, и он не плясал, как пляшет огонь от чувства. Он тянулся. Вытягивался в одну сторону, к стене, за которой спало северное крыло, и дрожал на конце, как стрелка, которую тянет к железу.

Так очаг находит спрятанного ребёнка, сказала днём Линнея. Если рядом прячут дар, насильно сжатый, придушенный, — пламя вскидывается язычком и тянется к нему.

Я села. Огонь в ладони не гас и не выпрямлялся — он держал направление, упрямо, как живой. Я знала эту дрожь не по чужим словам. Я сама была таким придушенным даром

двенадцать лет. Я знала, каково это изнутри: когда тебя сжимают так, что ты тянешься на любой ответный огонёк, лишь бы не остаться одной в темноте.

Северное крыло. Я помнила план, который мне дали днём: восточное — наставники, западное — старшие дети, нижнее — малыши. А северное крыло на плане было перечёркнуто. «Не используется. На ремонте». Туда не селили никого. Там по всем спискам, по всем книгам этой честной школы, где детей не считают по головам, не должно было быть ни одного ребёнка.

А мой огонь тянулся туда и дрожал так, будто там кто-то задыхался.

Я встала, накинула шаль на плечи и взяла со стола огарок — не для света, для повода, если меня встретят. Отперла дверь своим ключом. Щелчок на этот раз меня не испугал. В коридоре было темно и тихо, пахло известью и сырой золой, и где-то очень далеко, под зелёной крышей, ровно горел Зеркальный очаг, не зная ещё, что в честной школе, поднятой на месте доильни, кто-то снова прячет огонь в темноте.

Коридор северного крыла начинался там, где кончался обжитой свет. Дальше шли двери, заколоченные крест-накрест свежей доской, — слишком свежей для крыла, что стоит «на ремонте» неизвестно сколько. Я считала доски и считала свой страх, и страх выходил честнее досок: я боялась не темноты, я боялась узнать, что и здесь, в самом добром месте, какое я видела за двенадцать лет, кто-то держит ребёнка взаперти. Я столько лет молилась, чтобы за мной пришли, и никто не шёл. Я поклялась, что если когда-нибудь огонь поведёт меня к запертому, я пойду, даже если в конце окажется зеркало — я сама, маленькая, за дверь.

На повороте я остановилась. В стылом воздухе коридора висела поволока — тонкая, серая, такая же, какой днём дышал лорд Дейн. Она не была плотной; она оседала, как оседает дым там, где недавно прошёл костёр. Здесь кто-то был. Кто-то из пепельной крови прошёл этим коридором раньше меня — к тому же запертому крылу, на тот же тянущий огонёк. Мой собственный язычок в ладони при встрече с поволокой дрогнул и пригнулся, но не погас: он держал направление упрямее страха.

Я могла повернуть назад. Я была новенькой, ничего не знала, имела полное право спать и ничего не видеть. Это была пятая свобода за день — уйти. Я сосчитала её и не взяла. Двенадцать лет я была той, мимо чьей двери проходили мимо. Я не собиралась стать тем, кто проходит.

Где-то впереди, за крест-накрест заколоченной дверью, что-то скрипнуло — короткий, придушенный звук, какой издаёт человек, когда зажимает себе рот ладонью, чтобы не выдать, что не спит. Огонёк в моей руке рванулся туда так сильно, что обжёг мне пальцы. Я не отдернула руку. Жар я терпела всю жизнь; меня пугал только холод.

Я пошла на север, и пламя в моей ладони повело меня, как ведут за руку.

Глава 2. Тот, кто тушит

Пепельная поволока вышла из темноты раньше, чем человек, — будто тень отделилась от стены и сгустилась поперёк коридора, и мой огонь в ладони, тянувшийся к запертой двери, поперхнулся и осел, как осёл бы любой огонь, на который дохнули золой.

— Дальше нельзя, госпожа Кальдор.

Сорен Дейн стоял между мной и крест-накрест заколоченной дверью. В темноте его серые глаза были почти белыми, и от него тянуло холодом — не морозным, а каким-то глубинным, печным холодом остывшего очага. Я держала огонёк на ладони и не давала ему погибнуть, и это стоило мне сил, каких не стоило никогда.

В келье плена меня учили: когда сильный давит твой огонь, не сопротивляйся открыто — затаись, сбереги уголёк, переживи. Тело помнило урок и сейчас тянуло меня съёжиться, потушить, исчезнуть. Я заставила себя стоять. Я приехала сюда именно затем, чтобы разучиться съёживаться, и не собиралась начинать обучение с поражения в первую же ночь.

— За этой дверью кто-то есть, — сказала я. — Я чувю. Мой огонь чувствует. Там придушенный дар. Ребёнок.

— Там никого нет, — сказал он.

И поволока вокруг него качнулась. Я не знала тогда про Зеркальный очаг главного: что серый дым выдаёт ложь только под присягой. Но я двенадцать лет читала людей по телу, потому что от этого зависела моя жизнь, и я видела: он лжёт. Спокойно, привычно — как человек, который лжёт давно и по необходимости. От этого мне стало дурно. Я приехала в место, где детей не прячут. А «тот, кто тушит», стоит ночью у запертой двери и говорит, что там пусто, и врёт.

— Отойдите, — сказала я.

— Нет.

— Я закричу. Сбегутся попечители. Линнея.

— Кричите, — сказал он так устало, что у меня по спине прошёл озноб. — Сбегутся. Увидят пустую комнату на ремонте и новую наставницу, которая в первую ночь бродит по чужому крылу с огнём в руке. Кому из нас двоих здесь поверят меньше, госпожа Кальдор? Вам, которую двенадцать лет учили лгать, или мне, чья кровь триста лет хранит порядок этих стен?

Удар был точный и подлый, и он попал. Я стояла и чувствовала, как меня заливают стая, стылая беспомощность — та, из келий, когда любое моё слово заранее ничего не весило, потому что я была никто, номер в книге послушниц. Огонёк в ладони дрогнул.

— Идите спать, — сказал Сорен Дейн уже тише, и в его голосе мелькнуло что-то, чего я не сумела назвать. — Прошу вас. Ради того, кого вы хотите спасти, — идите спать. Иногда самое доброе, что можно сделать для запертого, — не дёргать дверь, у которой стоит стража.

Он отступил в тень, давая мне дорогу — назад, не вперёд. И я ушла. Я до сих пор не знаю, что во мне тогда послушалось его — не угроза, нет. То, как он сказал «ради того, кого вы хотите спасти». Так не говорит тюремщик. Так говорит ещё один заключённый, который знает расписание обходов лучше тебя.

Я вернулась к себе, заперла дверь на свой ключ — щелчок не утешил — и не спала до света, и всю ночь огонёк на моей ладони нет-нет да и тянулся к северу и дрожал.

Я лежала и складывала его, как складывают разорванное письмо. Тюремщик, поймавший беглеца у двери, не уговаривает шёпотом «иди спать ради того, кого ты хочешь спасти». Тюремщик зовёт стражу. А этот стоял один, в стылом коридоре, среди ночи, и загораживал собой дверь так, будто боялся не того, что я войду, а того, что войдёт кто-то другой и увидит. И ещё одно не сходилось: если он гасит дар, как велит его кровь, — почему за той дверью мой

огонь чуял живой, придушенный, но не угасший детский дар? Гаситель гасит насмерть. А там кто-то тлел и берёгся. Я так и не решила, кого боюсь больше: что Сорен Дейн прячет ребёнка для зла — или что он прячет его от зла, и тогда зло где-то рядом, ходит при свете и улыбается.

Утром была кровь и дети, то есть — первый урок.

Двор под зелёным стеклом превратили в учебный круг: утоптанная зола, кольцо камней, в середине — жаровня. Десятка полтора детей, от мала до велика, сидели на брёвнах, и я стояла перед ними, и у меня дрожали руки — не от страха, от радости, какой я стыдилась. Двенадцать лет я мечтала, что меня кто-нибудь научит не бояться своего огня. Никто не пришёл. И вот я стояла перед теми, к кому пришла сама.

— Меня зовут Лисанна, — сказала я. — Я Кальдор. Это значит, что мой огонь — законный, а ваш — нет, и это самая большая глупость, какую придумали взрослые. Огонь не знает законов. Он знает только, держат его или душат. Я двенадцать лет училась держать. Научу вас.

Ильза, та девочка с обожжённым лицом, смотрела на меня с вызовом — проверяла, надолго ли я.

— А правда, что вы сестра лорда Кальдора? — спросила она, и в голосе её была не любопытность, а проверка на излом. — Значит, вам можно. Вам всегда было можно. А нас за одну искру в люди сводили. Чему такая, как вы, научит таких, как мы?

Я не обиделась — обрадовалась. Девочка задала единственный честный вопрос и задала его мне в лицо, а не за спиной, как задавали взрослые.

— Мне было нельзя двенадцать лет, Ильза, — сказала я. — Меня держали взаперти под чужим именем и били по рукам за каждый огонёк, что горел дольше этого. Кальдор мне вернули год назад. А до того я была номер в книге послушниц, как ты была «надобностью» в чужом доме. Так что я научу вас тому самому, чему меня не научил никто: как не дать себя потушить. Изнутри — страхом. И снаружи — чужой рукой.

Ильза молчала. Но вызов в её глазах сменился чем-то осторожным — не доверием ещё, но его дальним предвестием. Я выиграла у неё один палец. С такими детьми один палец стоит дорого.

— Ну-ка, все, — сказала я. — Дайте мне самую маленькую искру, какую умеете. Не пламя. Искру. С маковое зерно.

Дети завозились. У кого-то на пальцах вспыхнули неуверенные огоньки. Я прошла по кругу.

— А теперь не туши её и не раздувай. Просто поддержи. Это и есть весь секрет, которого боятся взрослые: огонь слушается не того, кто его гонит, и не того, кто его давит, а того, кто умеет просто держать ровную руку. Кто додержит до счёта «десять», тот сегодня умнее любого лорда в этой державе.

Микка держал свою искру, прикусив язык, и считал шёпотом, и у него вышло до восьми. Восемь — это было больше, чем держал он когда-либо, я видела это по его лицу. Вот тогда я и забыла про осторожность. Вот тогда мне и захотелось показать им, что бывает, когда искре дают вырасти. Микка сидел с краю, прижав к груди дощечку с углём. Я раскрыла ладонь и выпустила огонь — настоящий, червонно-золотой, кальдоровский, развернула его цветком над жаровней, и дети ахнули, и даже Ильза подалась вперёд, и в её глазах вспыхнул тот самый голод, который я узнавала, как узнают родню.

— Видите? — сказала я. — Не страшно. Красиво. Ваш огонь тоже так умеет, если...

Серая поволока легла на мой цветок сверху, тихо, без единого звука, и пламя в моей ладони осело и сникло, скукожилось до напёрстка. Дети отшатнулись. Микка тоненько вскрикнул.

Сорен Дейн стоял у края круга. Он даже не поднял руки. Он просто выдохнул в мою сторону, и мой огонь придушило, как придушивают свечу пальцами.

Это не было больно. Это было хуже. На один удар сердца я перестала чувствовать в себе огонь — впервые с тех пор, как меня освободили. Будто кто-то чужой положил ладонь поверх моей души и сказал «тихо». Двенадцать лет я только и делала, что доказывала себе, что меня нельзя погасить. И вот при пятнадцати детях один серый выдох доказал обратное за один вздох.

— Прежде чем учить их разжигать, госпожа Кальдор, — сказал он негромким своим голосом, — научите их гасить. Иначе вы воспитаёте не наставников огня, а погорельцев. Огонь, который красиво разворачивается цветком над сухой золой при пятнадцати детях, — это не урок. Это пожар, который пока вежлив.

Меня залило яростью — белой, оглушительной. Я знала это ощущение в ладонях: так душили меня. Так в монастыре наставница-послушница клала мне руку на горло и говорила «тише», когда во мне поднимался огонь, и я давилась им годами, и вот опять, при детях, чужая воля придавила моё пламя, чтобы показать, кто здесь хозяин.

— Уберите. Свою. Зо́лу. — Я выговаривала по слову, и в каждом слове был жар. — Вы только что показали пятнадцати детям, что их можно потушить против воли. Я двенадцать лет показывала им обратное одним своим существованием.

— Я показал им, что их огонь можно удержать, когда они не справятся сами, — сказал он. — Это не унижение. Это страховка. В отличие от вас, я не обещаю им, что будет только красиво.

— В отличие от вас, я не дышу на детей пеплом.

Это вышло громче, чем я хотела. Дети замерли. Ильза смотрела на нас обоих, и я видела, как в ней щёлкает счёт: новенькая огневая против старого серого, кто сильнее, на чьей стороне быть. Я делала именно то, чего нельзя: рвала круг надвое при детях. И самым горьким было то, что в его словах пряталась правда: огонь, который я развернула цветком над сухой золой, и впрямь был красив и беспечен, и я знала наизусть, чем кончается беспечный огонь, — я сама когда-то спалила себе ладони до мяса, не умея придержать. Но признать это сейчас, при детях, после того как он придушил меня у всех на глазах, было выше моих сил. Сорен Дейн смотрел на меня, и его лицо было закрыто, как заколоченная дверь, и только в самой глубине серых глаз что-то горело — не злостью. Стыдом? Я не успела разобрать.

— Какая чудесная страсть, — сказал новый голос от ворот. — Вот что значит — живая школа. Огонь и зо́ла спорят о ребёнке. Прелестно. Не останавливайтесь из-за меня.

Я обернулась. В воротах учебного круга стоял человек, которого я сразу возненавидела бы, если бы умела ненавидеть так быстро, как умею бояться. Немолодой, опрятный, в дорожном платье хорошего сукна, с лицом приветливым и круглым, как у доброго дядюшки. Он улыбался. И он держал в руках книгу — переплетённую книгу учёта, с тесёмкой-закладкой, и пальцы его лежали на ней так привычно и нежно, как лежат на любимой вещи.

— Лорд Касиан Стейн, — представился он, входя в круг, будто круг был его. — Попечитель учёта. Прислан короной приглядеть за тем, чтобы это прекрасное начинание было... безопасным. И для державы, и, главное, для деток. — Он обвёл детей взглядом, и взгляд этот шёл по их головам, по одной, по одной, и губы его чуть шевелились. Он их считал. — Пятнадцать. Хм. По моим спискам должно быть четырнадцать.

У меня похолодело внутри. Не от числа. От того, как он считал. Я знала эту манеру до тошноты. Так считал нас старший монастыря, обходя кельи перед сном: пальцем по головам, губами по числам, и если число не сходилось, кого-то наказывали, пока не сойдётся. Двенадцать лет я была единицей в чужом счёте. И вот опять кто-то добрый и опрятный вошёл в место, где меня перестали считать, и первым делом достал книгу и сосчитал детей по головам.

— Дети не «деток», лорд, — сказала я. — И не пятнадцать. У них есть имена.

— Разумеется, есть. — Он улыбнулся мне так тепло, что мне захотелось отойти к стене, как отходили дети от Сорена. — И все они будут вписаны. Аккуратно, честно, в истинный Реестр — не в тот, страшный, старый, а в добрый, новый. Чтобы никто и никогда больше не

мог стереть ребёнка, как стирали прежде. Разве вы против того, чтобы детей записали и тем защитили, госпожа... — он заглянул в книгу, — ...Кальдор? Сестра лорда Эйдана. Какая честь. Вас ведь тоже когда-то держали неписанной, неучтённой, безымянной. Уж вы-то знаете, как это страшно — быть тем, кого нет в книге.

Он бил в то же место, что и Сорен ночью, — в мою рану, в двенадцать лет без имени. Но Сорен бил, чтобы прогнать меня от двери. А этот гладил рану пальцем и улыбался, и от его сочувствия мне было в сто раз тошнее, чем от чужой грубости. Потому что грубый Сорен хотел, чтобы я ушла. А добрый Стейн хотел, чтобы я согласилась.

За его спиной, у ворот, стояла девочка. Лет девяти, тоненькая, в чистеньком платье, с гладко заплетёнными косами, каких не бывает у детей, которые сами по себе играют в золе. Она стояла прямо, руки по швам, и улыбалась той же ровной улыбкой, что и Стейн, — выученной, надетой, как платье.

— А это Веснянка, — сказал Стейн, и положил девочке руку на макушку, и я увидела, как она под этой рукой стала ещё на палец прямее. — Моя воспитанница. Огонь, как и у всех ваших. Образцовая девочка — тихая, послушная, держит свой дар в руках без всякой золы и без всякого крика. Я привёз её показать вашим деткам, что одарённый ребёнок может быть удобным. Поучитесь у неё, милые.

Вея подняла на меня глаза. И на одно мгновение — короче, чем щелчок замка, — выученная улыбка с её лица сползла, и я увидела под ней то, что видела двенадцать лет в зеркале умывальной лохани: лицо ребёнка, который знает, что он не воспитанница, а вещь. Источник. Рычаг. И тут же улыбка вернулась на место, и Вея сказала тоненько и вежливо:

— Здравствуйте, госпожа наставница.

Я открыла рот — и не нашла, что сказать, потому что всё, что я хотела закричать, закричать было нельзя.

На шум во двор вышли попечители. Линнея — с печатью на поясе, прямая и собранная, а рядом с ней высокий человек в тёмно-сером, в котором я узнала старшего из Дейнов, лорда Альрика, того, что снял с рода присягу-палача. Его собственная пепельная поволока была глубже и тише, чем у Сорена, — поволока того, кто много гасил и долго потом об этом думал.

— Лорд Стейн, — сказала Линнея, и голос её был вежлив и холоден, как её печать. — Академия благодарна короне за попечение. Но счёт детей и присяги веду я. Истинный Реестр — моё ведомство.

— Разумеется, разумеется. — Стейн поклонился ей с такой готовностью, что поклон вышел оскорбительнее дерзости. — Вы ведёте Реестр, поверитель. А я приставлен следить за безопасностью. Это, видите ли, две разные книги. Вы записываете, кто эти дети. Я отвечаю за то, чтобы они никого не сожгли. Случись здесь, не приведи случай, пожар — спросят не с вас, добрая Линнея. Спросят с меня. А я очень не люблю, когда с меня спрашивают. — Он улыбнулся всем сразу. — Оттого и буду внимателен. Ради деток.

Я смотрела на Линнею и видела то, чего не видели дети: поверитель истины, человек, при котором не лгут, — поджала губы и смолчала. Она не могла его прогнать. У него была бумага от короны, а бумага в этом мире, я знала на своей шкуре, весит больше правды. Альрик коротко тронул Линнею за локоть — удерживая. Значит, и они уже бились в эту стену и знали, что силой её не взять.

Я хотела сказать, что увезу эту девочку отсюда сегодня же, что я узнаю клетку под любым чистеньким платьем, что её «образцовость» — это шрам, а не добродетель. Но я смолчала, и молчание далось мне тяжелее крика. Я научилась в плену: вырвать рычаг силой — значит сломать им того, кого держат. Вею держали мной не меньше, чем мной когда-то держали Эйдана. Один мой неверный шаг — и ей будет хуже.

— Ну вот и славно, — сказал Стейн, довольный, оглядывая нас всех — детей, меня, Сорена. — Раз уж у нас тут вышел такой живой спор об удержании, давайте обратим его в пользу. Лорд Дейн. — Он повернулся к Сорену, и улыбка его стала ещё теплее. — Вы ведь лучший в державе по части удержания опасного дара. А госпожа Кальдор полагает, что огонь не нужно придерживать. Что может быть нагляднее для деток, чем небольшой урок? Покажите им. Удержите наставницу — мягко, разумеется, для науки, — пусть дети своими глазами увидят, кто прав. Завтра. При всех. Я бы и сам хотел посмотреть, как пепел справляется с пламенем дома Кальдор. Для отчёта короне. Исключительно ради безопасности деток.

— А если лорд Дейн откажется? — спросила я. Я не выдержала.

— Откажется придержать опасный огонь при пятнадцати детях? — Стейн развёл руками, и лицо его сделалось скорбным, как у проповедника. — Тогда я, к великому сожалению, должен буду записать в отчёте, что наставник удержания не желает удерживать. Что школа держит пепельного дракона, который не делает единственного, для чего он здесь нужен. И задуматься: а зачем он здесь нужен на самом деле? Что он тут, при детях, делает, если не своё прямое дело? — Он повернулся к Сорену, и в добрых его глазах на самое дно мелькнул холод сборщика, проверяющего товар. — Но вы ведь не откажетесь, лорд. Вы слишком умны, чтобы дать мне повод задавать такие вопросы.

Он улыбался Сорену. Он улыбался мне. Он улыбался детям. И книгу учёта он прижимал к груди нежно, как прижимают младенца.

А Сорен Дейн смотрел на меня через весь учебный круг, и его серое закрытое лицо медленно делалось ещё серее, и я поняла, что человек, который этой ночью загородил собой запертую дверь, завтра при всех должен будет придушить мой огонь у меня в руках — или отказаться и выдать, что ему есть что прятать.

Глава 3. Верная зола

К полудню следующего дня я знала про Сорена Дейна одно: он умел проигрывать так, что было непонятно, проиграл ли он.

Демонстрацию Стейн обставил, как обставляют казнь под видом праздника. Детей рассадил в учебном круге. Попечители стояли поодаль — Линнея с закаменевшим лицом, Альрик рядом, тёмный и тихий. Стейн устроился на принесённой скамеечке, раскрыл на коленях книгу учёта и обмакнул перо, готовый записывать. Вея сидела у его ног, прямая, с надетой улыбкой.

— Не бойтесь, детки, — сказал он ласково. — Сейчас вы увидите, что бывает, когда взрослые умеют держать огонь в руках. Это не страшно. Это порядок.

Меня вывели в середину круга, как выводили когда-то на смотр послушниц. Тело вспомнило всё разом: как стоять, опустив глаза, как не дрожать видимо. Я подняла глаза. Я больше не послушница.

— Госпожа Кальдор, — сказал Сорен, выходя напротив. — Зажгите огонь. Любой. Я придержу. Будет неприятно. Простите.

Это «простите» он сказал так тихо, что услышала только я. И в его сером лице, закрытом для всех, для меня одной приоткрылась щель — и за щелью был не палач, любующийся властью, а человек, которого заставили делать то, что он ненавидит. Я узнала это выражение. Я носила его двенадцать лет.

— Не извиняйтесь заранее, лорд, — сказала я громко, для всех. — Может, у вас и не выйдет.

Я разожгла огонь. Не цветок на этот раз — ровный язык пламени над ладонью, мой, кальдоровский, гордый. И приготовилась к удушью, к серой ладони поверх души, к стыду.

Удушья не было.

Пепельная поволока сошла на мой огонь медленно, обняла его, и — придержала. Не задавила. Я не понимала разницы, пока не почувствовала её всем телом. Вчера он гасил: клал тяжесть и отнимал. Сегодня он держал: подвёл под мой огонь снизу свою золу, как подводят ладонь под локоть оступившемуся, и огонь не погиб — он стоял, обузданный, тихий, живой. Это не было унижением. Это было — да простит меня моя гордость — почти бережно.

Я подняла на него глаза. Он смотрел на моё пламя, и губы его едва двигались, и я готова поклясться, что он не давил, а уговаривал — мой огонь и свою золу разом, чтобы они не воевали. Стейн со своей скамеечки этого видеть не мог. Стейн видел картинку: пепельный дракон держит укрощённое пламя Кальдоров, дети смотрят, порядок торжествует. Он довольно скрипел пером.

— Видите, детки? — пел он. — Любой огонь можно... приструнить.

И тут Микка заплакал.

Я не сразу поняла. Мальчик смотрел, как меня — наставницу, которая накануне показала ему искру и сказала «держи до десяти», — придушивают при всех, и в его маленькой голове это сложилось в единственную знакомую картину: огонь наказывают. Огонь всегда наказывают. И его собственный страх вспыхнул в нём, как вспыхивает сухая трава, — неуправляемо. На его ладошках вскинулось пламя, дикое, паническое, не его роста, и поползло по рукаву.

Дети шарахнулись. Кто-то завизжал. Стейн вскочил со скамеечки, и — я это видела, я запомнила навсегда — на лице его мелькнуло не испуг, а торжество. Вот оно. Вот доказательство. Опасные дети. Неуправляемый огонь. Запишем.

Сорен бросил меня в тот же миг. Моё пламя, отпущенное, рвануло вверх — и я сама его собрала, мне было чем, я наставница. А Сорен в три шага оказался возле Микки и опустился на колено прямо в чужой огонь, в детскую панику, и накрыл мальчика собой и своей золой — не

гася, я видела теперь разницу, не гася, а банкуя: он принял на себя жар, прижал перепуганного ребёнка к груди и дышал на него медленно, серо, и приговаривал что-то, и дикое пламя на Миккиных руках оседало, оседало, превращалось из пожара в тёплый тихий уголёк, и мальчик, задыхавшийся от ужаса, вдруг обмяк и заревел уже просто как ребёнок, которого обняли.

— Тихо, — услышала я низкий, присыпанный пеплом голос. — Тихо, маленький. Никто тебя не наказывает. Никто. Я держу. Я тебя держу. Зола не враг твоему огню. Зола его на ночь укрывает, чтоб к утру было чем гореть. Дыши.

В учебном круге стало очень тихо.

Стейн стоял со своей раскрытой книгой и не знал, что записать. Он привёл всех смотреть, как пепел укрощает пламя, — а пепел стоял на коленях в золе и баюкал плачущего мальчишку, и это была самая неудобная картина для человека, которому нужно было доказать, что одарённых детей надо держать в узде. Линнея за его спиной выдохнула. Альрик смотрел на племянника — а Сорен ему приходился, я потом узнала, дальней роднёй — и в тёмном лице старшего Дейна было что-то похожее на большую гордость.

— Что ж, — сказал Стейн, захлопывая книгу. Голос его остался медовым, но мёд подёрнулся ледком. — Трогательно. Лорд Дейн у нас, оказывается, не столько укрощает огонь, сколько нянчит его. Запомним и это. — Он улыбнулся мне. — Урок окончен, детки. Идите. Думаю, мы все сегодня многое поняли.

Я смотрела ему в спину, когда он уходил, и думала: да. Я многое поняла. Я поняла, что человек, которого я приехала ненавидеть, только что закрыл собой ребёнка от чужого огня и от чужого расчёта разом. И что добрый попечитель с книгой хотел, чтобы мальчик горел подольше.

Я поискала глазами Вею. Девочка не побежала со всеми. Она сидела там, где её оставил Стейн, прямая, с руками по швам, и смотрела на Сорена, баюкавшего Микку, — и на одно мгновение её надета улыбка опять сползла, и под ней проступила не зависть, нет, а голод: так смотрит на чужой хлеб тот, кого кормят по счёту. Никто никогда не сидел над Веей в темноте. Никто не дышал на её страх тёплой золой. Её научили держать дар «удобно» — молча и насмерть тихо, — и за это хвалили. Я смотрела на этого образцового ребёнка и понимала, что вижу себя двенадцатилетней давности, и что увезти её отсюда мне хочется больше, чем дышать.

Микку увели отпаивать тёплым. Сорен поднялся с колен, отряхнул золу с серого платья, и руки у него, я заметила, чуть подрагивали — у того, кто весь день держит чужой огонь, к вечеру дрожат руки, я это знала по себе. Он прошёл мимо меня, не глядя.

— Лорд Дейн, — сказала я.

Он остановился, не оборачиваясь.

— Вчера вы стояли у двери в северном крыле, — сказала я тихо, чтоб никто не слышал. — И сказали, что там никого нет. А сегодня вы на коленях в детском огне. Я плохо умею верить людям, лорд. Двенадцать лет меня от этого отучали. Но я хорошо умею считать. И у меня не сходится: гаситель не баюкает то, что должен гасить.

Он повернул голову. Серые глаза посмотрели на меня — впервые без той закрытой брони, устало и прямо.

— Не ходите больше в северное крыло, госпожа Кальдор, — сказал он. — Не из-за меня. Из-за него. — Он коротко повёл подбородком в сторону, куда ушёл Стейн. — Есть вещи, которые целее, пока их не считают. Вы из всех людей должны это понимать.

И ушёл. А я осталась стоять с этим «вы из всех людей должны это понимать», которое разворачивалось во мне весь день, как разворачивается уголёк, если на него подуть.

Под вечер я нашла Линнею в попечительской — она сводила какие-то столбцы при свече, и печать лежала рядом с ней на столе, тёмная.

— Расскажите мне про Дейнов, — сказала я без обиняков. — Не то, что пишут на воротах. Правду.

Линнея отложила перо. Посмотрела на меня долгим поверяющим взглядом — тем самым, которым в первый день сверилась со мной, как с записью.

— Триста лет назад, — сказала она, — корона решила, что огонь есть недостача, которую надо списывать. Кальдорам велели быть единственным законным пламенем. А Дейнам — теми, кто гасит незаконное. Один род сделали витриной, другой — палачом. И тех и других — заложниками собственной крови. Альрик, старший, всю жизнь гасил по присяге, пока не понял, что гасит не чудовищ, а детей, и что «казнённых» не казнят, а доят. Он сломал присягу. Это стоило ему всего, кроме совести. Сорен — младшая ветвь. Он пришёл за Альриком. Он мог остаться лордом при дворе, тушить незаписанный огонь и жить в почёте. Вместо этого он сидит ночами в пустоши над чужими детьми и собирает на себя их дневную ненависть. Я не знаю человека чище и не знаю человека несчастнее. Он считает, что любовь не для палаческой крови, и медленно выстывает в золу в одиночку, и зовёт это долгом. — Линнея помолчала. — Вы спросили про Дейнов. А похоже, спрашивали про одного. Будьте осторожны, Лисанна. Выстывающий дракон тянет тепло, как прорубь. Он сам не заметит, что греется о вас, пока вы не озябнете до кости.

— Я двенадцать лет грела чужие расчёты собой, — сказала я. — Я умею не озябнуть.

— Все так думают, — сказала Линнея, и в голосе её была не насмешка, а память, — пока не встретят того, ради кого захотят озябнуть.

Конечно, ночью я снова пошла на север.

Я не послушалась — но на этот раз пошла иначе. Не ломиться. Я двенадцать лет училась обходить замки и обходить людей; я знала, как пройти туда, куда не пускают, не дёргая дверь у стражи. Я дождалась глухого часа, обошла крыло снаружи, по оживающей золе двора, и нашла то, что искала: низкое окно бывшего каземата, забранное доской, но доска отходила — кто-то отворял её часто, изнутри.

Я заглянула.

Внутри не было ни цепей, ни склянок, ни доильни. Была тёплая, бедная, чисто прибранная комната. Лежанки. Кувшин с водой. И на трёх лежанках спали дети — не учтённые в спальнях, не вписанные в дневные списки. Я узнала одного: тот мальчишка-южанин, что днём держал искру дольше всех после Микки. Другая — крохотная, я её не знала. Третий ворочался и постанывал во сне, и над ним, на низкой скамье, сидел Сорен Дейн.

Он не спал. Он сидел в темноте над спящими детьми, и его пепельная поволока стелилась по комнате ровным тонким пологом, мягким, тёплым на вид, — и я поняла, что он делает. Эти дети горели во сне. Их дар, годами давленный, изломанный, по ночам вырывался кошмаром — и они могли выжечь себя или вспыхнуть так, что увидят со стороны и запишут. И кто-то должен был всю ночь, каждую ночь, сидеть над ними и тихой золой банковать их сны, придерживать огонь, который они ещё не умели держать сами, чтобы к утру они проснулись живыми и невпойманными.

Тот, кто тушит. Триста лет его род душил детский огонь насмерть. А он сидел в темноте и не давал ему погаснуть.

Спящий мальчик вскрикнул во сне, и на его груди пыхнуло пламя, и Сорен наклонился, положил серую ладонь поверх — не давя, обнимая, — и выдохнул, и пламя осело в тёплый уголёк, и мальчик задышал ровнее. И Сорен сказал ему, спящему, то же, что говорил днём Микке, только тише, только для себя:

— Зола не враг огню. Зола его укрывает на ночь.

Я стояла у отошедшей доски, и по лицу у меня текло, и я этого не стыдилась. Двенадцать лет я молилась, чтобы кто-нибудь пришёл и посидел в темноте над запертым ребёнком, и не дал ему сгореть в одиночку. Никто не пришёл ко мне. А этот приходил каждую ночь к чужим

детям — молча, без благодарности, под клеймом палача, и днём принимал на себя ненависть тех самых детей, которых ночью спасал, и не оправдывался.

Я, кажется, всхлипнула. Доска скрипнула. Сорен поднял голову, и наши глаза встретились через тёмное окно.

Он не испугался и не вспыхнул гневом. Он только смотрел на меня — застигнутый, открытый до дна, без брони, и в его сером лице была не злость пойманного, а страшная, голая усталость человека, который очень давно носит тайну один и только что понял, что больше не один.

Он встал — тихо, чтоб не разбудить детей, — подошёл к окну изнутри и отодвинул доску до конца. Холодный ночной воздух и мой огонь вошли в тёплую комнату. Мы стояли по разные стороны проёма, близко, я чувствовала его печной холод, он — мой жар, и наши поволока и пламя на границе не воевали — стояли, приглядываясь.

— Теперь вы знаете, — сказал он очень тихо. — И теперь вы опасны им так же, как опасен я. Стейн не должен узнать про эту комнату. Если он узнает, что в академии есть дети, чей огонь по ночам неуправляем, он завтра же закроет школу как угрозу державе — и заберёт всех «на безопасный учёт». А что такое его «безопасный учёт», вы, госпожа Кальдор, знаете лучше меня.

— Знаю, — сказала я. — Я двенадцать лет была его «безопасным учётом».

Я ещё раз обвела глазами тёплую комнату. Три лежанки, кувшин, на стене — детские рисунки углём, Миккина рука, я узнала кудрявый дым из трубы. Это была не камера. Это было единственное место в академии, выстроенное втайне, наспех, из любви, — убежище для тех, кого нельзя ни выпустить в общие спальни (сожгут себя во сне), ни вписать в дневные списки (запишут — и заберут). Кто-то отдавал этим детям свои ночи, чтобы у них было не страшное место.

— Кто эти трое? — спросила я.

— Те, у кого дар изломан хуже прочих, — сказал Сорен. — Их доили дольше, чем спасали. Днём они держат искру вместе со всеми и почти не отличаются. А ночью изломанный дар мстит за себя. Бросить их спать со всеми — кто-нибудь не доживёт до весны. Вписать — Стейн объявит, что огонь неуправляем, и получит свою бумагу. Поэтому их нет. Их нет в списках, нет в спальнях, нет нигде. Я держу их в «нет», пока они не научатся быть в «да» живыми.

Я смотрела на него — на серого выставляющего дракона, который выстроил детям домик в слове «нет», — и чувствовала, как во мне рушится стена, которую я возвела против него в первый же миг. Стены я строю быстро; я двенадцать лет училась строить их за один вдох. Эту он разобрал по камню, не сказав ни единого тёплого слова, — просто тем, что сидел в темноте.

— А над вами кто сидит? — спросила я. — Ночью.

Он посмотрел на меня так, будто я спросила на чужом языке.

— Надо мной не нужно сидеть, — сказал он. — Я гашу, а не горю. Мне нечему вспыхнуть.

— Вот поэтому вы и выставляете, — сказала я. Я не собиралась этого говорить; вышло само. — Огню нужна зола, чтобы не спалить дом. А золе нужен огонь, чтоб не стать могилой. Вы укрываете чужой жар каждую ночь и уверены, что вам нечем греться. Это не долг, Сорен. Это медленная смерть, обставленная как добродетель. Я и такое умею. Я в этом мастер.

Он молчал долго. Между нами в проёме стояли его холод и мой жар и не воевали, и я вдруг поняла, что не помню, когда последний раз стояла так близко к человеку и не считала, чем он может мне навредить.

— Идите спать, Лисанна, — сказал он наконец. Но в этот раз «идите спать» прозвучало не как «уйдите». Оно прозвучало как «берегите себя». Я расслышала разницу. Я двенадцать лет жила на разнице между этими двумя смыслами.

Мы помолчали.

— Зачем вы это делаете? — спросила я. — Вашей крови велено гасить. Вас за это никто не похвалит. Эти дети днём шарахаются от вас. Зачем?

Он долго молчал, и я думала, что не ответит.

— Потому что однажды я погасил то, что нельзя было гасить, — сказал он наконец. — По присяге. По приказу. Думая, что делаю порядок. А потом узнал, что её не убили, а выдоили, и что я опоздал. С тех пор я сижу по ночам. Это не доброта, госпожа Кальдор. Это недоимка. Я должен очень много детских ночей. Я отдаю по одной.

Недоимка. Я, считавшая свободы, как монеты, поняла его счёт до последней цифры.

— Лисанна, — сказала я.

— Что?

— Меня зовут Лисанна. Не «госпожа Кальдор». Раз уж мы теперь оба опасны одному и тому же человеку — зовите по имени. Я двенадцать лет ждала, чтобы меня звали по имени.

Что-то дрогнуло в его сером лице — далеко, как огонёк под золой.

— Сорен, — сказал он. Просто отдал мне своё в обмен.

А утром Стейн собрал во дворе всю академию — наставников, детей, попечителей — и, стоя у Зеркального очага с раскрытой книгой учёта, объявил, что отныне, ради безопасности и порядка, каждый ребёнок и каждый наставник принесёт у священного очага присягу учёта: назовёт свой дар вслух, чтобы тот был записан в истинный Реестр честно и навсегда. И когда он раскрыл книгу и прижал к первой странице свою печать, чтобы скрепить указ, я увидела оттиск — синий восковой кругляш с тонким клеймом, — и у меня остановилось сердце. Этот знак я видела двенадцать лет на каждом ящике, что привозили в горный монастырь и увозили из него под утро, когда послушниц запирали в кельях. Синий восковой кругляш, тонкое клеймо: чашка весов, и в ней не гиря — свеча. «Учтено и погашено». Им метили склянки. Им метили нас. Имён тех, кто стоял над торгом, я не знала — я была товаром, а товару не показывают накладные. Но печать я знала, как знают свой шрам, не глядя.

И вот эта самая печать легла сейчас на первую страницу присяги учёта, у священного очага, в школе, поднятой на месте доильни, рукой доброго попечителя, пришедшего «ради деток». Я стояла в толпе, Сорен стоял через двор, и я поймала его взгляд и поняла, что он прочёл всё по моему лицу. Стейн был не чужой беде этого места. Стейн был та же цепь. И завтра он собирался под видом святой присяги по одному подвести к очагу всех детей академии — а Вею первой.

Глава 4. Серый и червонная

Присягу учёта Стейн назначил на исходе недели — «чтобы детки подготовились», то есть чтобы он успел осмотреться. Эти дни мы с Сореном прожили, как живут двое, у которых одна тайна на двоих и пятнадцать на руках.

Готовить детей к присяге у очага полагалось наставникам. Линнея распорядилась, чтобы это делали мы вдвоём — огонь и удержание, — и я подозреваю, что распорядилась нарочно. Она вообще, я заметила, не сводила людей силой; она ставила их рядом и ждала, что выйдет, как ставят рядом уголь и трут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.